

Когда все то ж в безбрежном круге
Летит, двоясь, из года в год,
Тысячекратных арок дуги
Смыкаются в единый свод;
Из дальних звезд и из былинки
Желанье быть течет рекой,
Но вечный жизни поединок —
Лишь вечный в Господе покой.

Гёте¹

ПРЕДИСЛОВИЕ
к исправленному изданию
(новая редакция)

При завершении занявшего десять лет жизни труда, который из первого краткого наброска вырос в неожиданно объемистый окончательный вариант, будет, пожалуй, уместно бросить прощальный взгляд на то, чего я желал и чего достиг, каким образом я это отыскал и как на все это смотрю теперь.

Во введении к изданию 1918 г., этом фрагменте как по форме, так и сущностно, я писал, что тут, по моему убеждению, дается неопровержимая формулировка мысли, которую, стоит ее раз высказать, никто уже не возьмется оспаривать. Мне следовало бы сказать: стоит ей быть понятой. Ибо для этого необходимо, как мне все более очевидно, причем не только в данном случае, но и в истории идей вообще, новое поколение, которое уже *явилось бы на свет* с нужными задатками.

Еще я тогда прибавил, что это — лишь первая проба, отягощенная всеми присущими ей промахами, проба неполная и, разумеется, не лишенная внутренних противоречий. Однако замечание это не было воспринято с той серьезностью, которую придавал ему я сам. Всякий, кому удалось заглянуть глубоко в предпосылки живого мышления, знает, что внутренне непротиворечивое узрение последних оснований бытия нам недоступно. Мыслитель — это человек, которому на веку написано символически изобразить свою эпоху через собственные наблюдения и понимание. Ему не остается выбора. Он мыслит так, как должен мыслить, и в конечном счете для него истинно то, что явилось на свет вместе с ним в качестве картины его мира. Вот то, что он не измышляет, но открывает в себе самом. Это его двойник, собственная его сущность, ухваченная в слове, оформленный в учение смысл его личности, неизменный для его жизни, потому что он *тождествен* своей жизни. *Необходим* лишь этот символический момент, вместилище и выражение человеческой истории. Все же возникающее как порождение философской учености — излишне и только множит залежи специальной литературы.

Так что да будет мне позволено назвать суть мною открытого лишь словом «истинное», *истинное для меня*, и, как я полагаю, для ведущих умов грядущего, а не истинное «само по себе», т. е. в отвлечении от условий крови и истории, потому что такого не существует в природе. Однако все *записанное* мной посреди бури и натиска² тех лет было, разумеется, лишь чрезвычайно несовершенным выражением того, что до отчетливости ясно маячило передо мной, так что задачей последующих лет являлось придание моим мыслям убедительного вида — на том уровне, который для меня достижим, — через расстановку фактов и оттачивание словесной формы, в которую они облечены.

Довести этот вид до совершенства не удастся никогда, ведь и саму жизнь доводит до совершенства только смерть. Однако мной была предпринята еще одна попытка поднять даже самые ранние части рукописи на ту высоту наглядного изложения, которая доступна мне на настоящую минуту, и тем самым я расстаюсь со своим трудом — с его надеждами и разочарованиями, его достоинствами и промахами.

Между тем достигнутые результаты оказались вполне обнадеживающими *для меня*, — как, впрочем, и для других, если мне позволено судить по тому действию, которое результаты эти начинают неспешно оказывать на отдаленные области знания. Тем резче следует мне обозначить ту границу, которую я наметил в этой книге для самого себя. В ней не следует искать всего. В ней содержится *лишь одна сторона* того, что вижу я перед собой, новый взгляд исключительно *на одну лишь историю, философию судьбы*, причем первую в своем роде. Книга эта отличается наглядностью от начала и до конца, будучи написана таким языком, который силится явственно подражать вещам и взаимосвязям, вместо того чтобы заменять их вереницами понятий, и она обращена лишь к тем читателям, кто знает толк в переживании³ звучания слов, в переживании образов. А это непросто, особенно тогда, когда благоговение перед тайной, Гётево благоговение, не дает нам принимать понятийные членения за глубинные прозрения.

И здесь поднимается вопль насчет пессимизма, тот вопль, с которым вечно-вчерашние набрасываются на всякую мысль, предназначенную исключительно для следопытов завтрашнего дня. Впрочем, я и не писал для тех, кто принимает рассуждение о суги дела за само дело. Кто любит дефиниции, тот не знает судьбы.

Понимать мир — это значит для меня стоять с миром *вровень*. Важна *суровость* жизни, а не понятие жизни, как тому учит страусова идеалистическая философия. Тот, кто не дает себя обмануть понятиями, не воспринимает это как пессимизм, а до прочих нам дела нет. Для серьезных читателей, которые ищут *взгляда* на жизнь, а не определения, я даю (из-за слишком сжатой формы текста — в примечаниях) ряд

ПРЕДИСЛОВИЕ

трудов, способных провести этот же взгляд дальше, в более удаленные области нашего знания.

В заключение я испытываю настоятельную потребность еще раз назвать имена, которым я обязан практически всем: Гёте и Ницше. У Гёте я заимствовал метод, у Ницше — постановку вопросов, и если бы мне надо было сформулировать свое отношение к последнему, я бы выразился так: я превратил его провидение (Ausblick) в панораму (Überblick). Гёте же по всему своему способу мышления, сам того не зная, был учеником Лейбница. Потому-то я и воспринимаю вышедшее, к собственному моему удивлению, из моих рук как нечто такое, что — несмотря на убожество и мерзость этих лет — с гордостью желал бы назвать по имени: *немецкая философия*.

*Бланкенбург-ам-Гарц, декабрь 1922 г.
Освальд Шпенглер*

ОБРАЗ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ТОМ I



ПРЕДИСЛОВИЕ

к первому изданию первого тома

Работа над первой редакцией этой книги, которой было отдано три года, пришла к завершению как раз тогда, когда разразилась великая война. К весне 1917 г. она была переработана еще раз, дополнена новыми деталями и прояснена. Чрезвычайные обстоятельства продолжали препятствовать ее выходу в свет.

Посвященная общей философии истории, книга эта все же представляет собой — в более глубинном смысле — истолкование великой эпохи, и в сени предвестий этой эпохи формировались ее основополагающие идеи.

Заглавие книги, определившееся еще с 1912 г., обозначает — в строгом смысле слова и с принятием во внимание «заката античности» — охватывающую несколько столетий всемирно-историческую эпоху, в начале которой мы теперь находимся.

Произошедшие события подтвердили многое и ничего не опровергли. Обнаружилось, что эти мысли должны были явиться на сцену именно теперь, причем в Германии, сама же война относится как раз к тем предпосылкам, при которых можно определить последние штрихи новой картины мира.

Ибо, по моему убеждению, здесь идет речь не о некоей теории, мыслимой наряду с другими и подлежащей исключительно логической проверке, но о *единственной* и, так сказать, естественной современной философии, которую все смутно предчувствовали. Сказать это следует безо всякого бахвальства. Исторически необходимая мысль, т. е. такая мысль, которой суждено не прийти на эпоху, но эпоху обозначить, лишь в ограниченном смысле — собственность того, на чью долю выпало быть ее автором. Она принадлежит всему тому времени вообще; она бессознательно действует в мышлении всех и каждого, и лишь связанная с привходящими обстоятельствами

ТОМ 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

частная формулировка, без которой никакой философии и быть не может, оказывается со своими недостатками и преимуществами судьбой (и — счастьем) отдельного человека.

Скажу напоследок лишь о своей надежде на то, что книга эта не окажется вовсе недостойной успехов Германии на фронте.

Мюнхен, декабрь 1917 г.

Освальд Шпенглер

ВВЕДЕНИЕ

1

В этой книге впервые предпринята попытка предугадать историю. Речь идет о том, чтобы проследить судьбу одной культуры, а именно западноевропейско-американской, которая — единственная на планете — пребывает сейчас в совершенной форме, причем проследить ее на стадиях, этой культурой еще не пройденных.

Очевидно, пока что никто и не догадывался о возможности решить такую колоссальную по значимости задачу, а если и догадывался, то имевшиеся к тому средства еще не были познаны либо ими пользовались ненадлежащим образом.

Есть ли логика в истории? Существует ли — по ту сторону единичных событий во всей их случайности и непредсказуемости, — так сказать, метафизическая структура исторического человечества, существенно независимая от наблюдаемых повсюду, расхожих духовно-политических порождений на поверхности? Структура, которая и вызывает к жизни эту действительность низшего порядка? Не являются ли великие черты всемирной истории осмысленному взору всякий раз в одном и том же облике, допускающем разгадку? И если это так, насколько далеко можно заходить с выводами такого рода? Можно ли в самой жизни (ибо человеческая история — это совокупность и воплощение исполинских биографий, в качестве субъекта и «я» которых уже само словоупотребление произвольно в мысли и на практике вводит таких индивидуумов высшего порядка, как «античность», «китайская культура» или «современная цивилизация») отыскать некие этапы, которые должны быть пройдены, причем в порядке, не допускающем никаких исключений? Быть может, такие основополагающие для всего органического понятия, как рождение, смерть, юность, старость, продолжительность жизни, имеют в этом круге более строгий смысл, который просто пока что никому не открылся? Короче говоря, не лежат ли в основе всего исторического общие биографические праформы?

Закат Запада, который, как и соответствующий ему закат античности, представляет собой прежде всего ограниченное во времени и пространстве явление, оказывается таким образом философской темой, обнимающей в себе, если подойти к нему со всей серьезностью, все великие вопросы бытия.

Если нам желательно узнать, какой вид будет иметь судьба западной культуры при своем исполнении, нам прежде следовало бы постичь, *что такое* культура, в каком отношении она пребывает к зримой истории, к жизни, душе, к природе и духу, в каких формах она проявляется и до какой степени эти формы — народы, языки и эпохи, битвы и идеи, государства и боги, искусства и художественные произведения, науки, права, экономические формы и мировоззрение, великие люди и великие события — являются символами и должны толковаться в качестве таковых.

2

Средство познания неживых форм — математический закон. Средство для понимания живых форм — аналогия. Таково различие между полярностью и периодичностью мира.

Сознание того, что число форм всемирно-исторических явлений ограничено, что времена, эпохи, положения, лица повторяются как типы, существовало всегда. Фигуру Наполеона вообще почти никогда и не рассматривали без того, чтобы не оглянуться при этом на Цезаря и Александра Великого (причем первый из них, как мы еще убедимся, морфологически с ним несопоставим, сравнение же со вторым вполне оправданно). Сам Наполеон додумался до родства своего положения с положением Карла Великого. В конvente говорили о Карфагене, подразумевая при этом Англию, а якобинцы называли себя римлянами. Бытуют сравнения (весьма неодинаковой степени оправданности) Флоренции с Афинами, Будды — с Христом, древнего христианства — с современным социализмом, римских финансовых воротил времен Цезаря — с янки. Петрарка, первый страстный археолог (ведь сама археология представляет собой выражение того чувства, что история повторяется), вспоминал, размышляя о себе, о Цицероне, и еще совсем недавно Сесиль Родс, организатор английской Южной Африки, библиотека которого располагала сделанным специально для него переводом жизнеописаний цезарей, уже применительно к себе — об Адриане⁴. Настоящим проклятием для шведского короля Карла XII явилось то, что он с юных лет таскал в кармане составленное Курцием Руфом жизнеописание Александра Великого и хотел подражать этому завоевателю во всем.

В собственных политических меморандумах (таких как «*Considérations*» [«Размышления» (*фр.*)] 1738 г.) Фридрих Великий уверенно пролагает себе путь посредством аналогий — дабы обозначить свое понимание всемирно-политического положения, как, например, когда он сравнивает французов с македонянами при Филиппе, а немцев — с греками: «Эльзас и Лотарингия, эти Фермопилы Германии, уже в руках у Филиппа». Все это относилось главным образом к политике кардинала Флери. Далее следует сравнение политики, проводимой домами Габсбургов и Бурбонов, с проскрипциями Антония и Октавиана.

Однако все это продолжало носить отрывочный и произвольный характер и, как правило, в большей степени отвечало сиюминутной потребности выразиться поэтично и остроумно, нежели углубленному историческому чувству формы.

Так, сравнения Ранке, этого мастера искусной аналогии, Киакара с Генрихом I, набегов киммерийцев с набегам венгров не имеют никакого смысла в плане морфологии, и лишь немногим лучше часто встречающиеся у него же сравнения греческих городов с республиками Возрождения. Более глубоко, хотя и имеет случайный характер, сходство Алкивиада с Наполеоном. Ранке, как и остальным, они внушены Плутарховым, т. е. народно-романтическим вкусом, который принимает во внимание только сходство обстановки на мировой сцене, и действует он уж никак не со строгостью математика, прозревающего внутреннее родство двух групп дифференциальных уравнений, между тем как непосвященный видит в них одни только различия во внешней форме.

Нетрудно заметить, что, вообще говоря, подбор образов определяется исключительно прихотью, а вовсе не идеей, не ощущением необходимости. Мы еще очень далеки от *техники* сравнения. Бездна сравнений возникает уже теперь, однако все это бессистемно и бессвязно; и если подчас они оказываются удачны в глубинном смысле, который еще предстоит установить, мы обязаны этим везению, куда реже — инстинкту, и никогда — принципу. До сих пор никто и не помышлял о том, чтобы разработать в этой области *метод*. Ни у кого не возникало даже неясной догадки на тот счет, что здесь следует искать ответ, причем ответ единственный, из которого может возникнуть великое решение проблемы истории.

Сравнения могли бы составить счастье исторического мышления, поскольку они раскрывают органическую структуру истории. Под воздействием всеохватной идеи их технике следовало бы развиваться до не оставляющей выбора необходимости, до логического мастерства. Доныне же они оказывались несчастьем, потому что, как вопрос исключительно вкуса, сравнения избавляли историка от осознания и усилия

рассматривать *язык исторических форм и их анализ* в качестве своей самой тяжелой и непосредственной, вплоть до нынешнего времени все еще даже и не понятой (уж не говоря о том, чтобы ее разрешить) задачи. Сравнения бывали частью поверхностными, как, например, когда Цезаря называли основателем римской официальной газеты, или, что еще хуже, до крайности запутанными, связывающими внутренне чуждые для нас явления античного существования с нынешними модными словечками — такими как социализм, импрессионизм, капитализм, клерикализм; подчас же этим сравнениям бывала свойственна причудливая извращенность, как практиковавшемуся якобинцами культу Брута, того самого миллионера и ростовщика Брута, который в качестве идеолога олигархического государственного устройства при одобрении патрицианского сената зарезал подлинного демократа*⁵.

3

Так задача, первоначально охватывавшая лишь ограниченную проблему нынешней цивилизации, раздвигает свои рамки вплоть до новой философии, и именно философии будущего, поскольку таковая может произрасти на метафизически истощенной почве Запада. Однако это — единственная философия, принадлежащая по крайней мере к *возможностям* западноевропейского духа на его последующих стадиях, выходя на *идею морфологии всемирной истории, мира как истории*, которая в противоположность морфологии природы, бывшей донныне единственной темой философии, охватывает в себе все образы и движения мира в их глубочайшем и окончательнейшем смысле, и хотя делает это повторно, однако в совершенно ином порядке, обобщая все познанное не в собирательную картину, но в образ жизни как таковой, в образ не ставшего, но становящегося.

Мир как история, постигнутый, рассмотренный, оформленный исходя из его противоположности, *мира как природы* — вот новый аспект человеческого бытия на этой планете. Разработку этого представления во всем его колоссальном практическом и теоретическом значении не признавали в качестве задачи вплоть до сегодняшнего дня, а, быть может, лишь смутно ощущали, нередко усматривали вдали; однако никогда к ней — со всеми вытекающими из нее последствиями — не отваживались приступить. Здесь кроются две возможности того, как человек может внутренне овладеть окружающим его миром и его переживать. Я максимально резко разделяю — по форме, но не сущностно — органическое впечатление от мира от впечатления механиче-

* См. с. 972, сноска *.

ского, совокупность образов — от совокупности законов, образ и символ — от формулы и системы, однажды реализуемое — от постоянно возможного, цель планомерно упорядочивающей силы воображения — от целенаправленно разлагающего опыта, чтобы назвать здесь еще никогда до сих пор не замеченную, однако полную значения противоположность, а именно области действия *хронологического* числа и числа *математического**.

Соответственно вышесказанному в исследовании, подобном нашему, речь должна идти не о том, чтобы принять как должное лежащие на поверхности злободневные события духовно-политического порядка, расположить их по «причинам» и «следствиям» и проследить в соответствии с их мнимыми, доступными для рассудка тенденциями. Такое — «прагматическое» — обращение с историей было бы не чем иным, как замаскированным естествознанием, чего и не скрывают приверженцы материалистического понимания истории, между тем как их оппоненты еще недостаточно отчетливо сознают степень сходства того и другого подхода. Речь идет не о том, чем являются конкретные факты сами по себе и как таковые, как явления какой-либо эпохи, но о том, что *означают их явления, на что они намекают*. Современные историки убеждены, что вершат куда больше, чем от них требуется, когда привлекают религиозные, социальные подробности, всякого рода мелочи из истории искусств, чтобы «проиллюстрировать» политическое содержание эпохи. Однако они забывают главное, а именно главное постольку, поскольку зримая история — это выражение, знак, оформившаяся душевность. Я не отыскал еще ни одного исследователя, который занялся бы всерьез изучением *морфологического родства*, внутренне связывающего язык форм *всех* культурных областей, кто бы обстоятельно углубился — поверх всех фактов политической жизни — в краугольные и основополагающие математические идеи эллинов, арабов, западноевропейцев, в смысл их ранней орнаментики, их архитектурных, метафизических, драматических базовых форм, подбор и направление их великих искусств, подробности их художественных приемов и выбор материалов, уж не говоря о том, чтобы познать все эти предметы в их решающем значении для проблемы

* Вот имевший гигантское значение и не преодоленный до сих пор промах Канта: вначале он совершенно схематически связал внешнего и внутреннего человека с многозначными и прежде всего *не неизменными* понятиями пространства и времени, а тем самым абсолютно ненадлежащим образом увязал и геометрию с арифметикой, вместо чего здесь следовало бы по крайней мере назвать куда более глубокую противоположность математического и хронологического числа. *И геометрия, и арифметика* — это пространственные исчисления, в высших своих областях вообще неразличимые. *Исчисление времени*, понятие которого на уровне ощущений предельно ясно простецу, отвечает на вопрос *когда*, а не *что и сколько*.

исторической формы. Кому ведомо, что между дифференциальным исчислением и династическими государственными принципами эпохи Людовика XIV, между античной государственной формой полиса и евклидовой геометрией, между пространственной перспективой западноевропейской живописи и преодолением пространства посредством дорог, телефонов и огнестрельного оружия, между контрапунктированной инструментальной музыкой и кредитной системой в экономике существует глубинная формальная связь? Будучи рассмотрены под этим углом зрения, даже самые прозаические факты из сферы политики принимают символический, прямо-таки метафизический характер и, быть может, впервые в истории такие предметы, как египетская система управления, античная монетная система, аналитическая геометрия, чек, Суэцкий канал, китайское книгопечатание, прусская армия и римская техника возведения дорог понимаются здесь *в равной степени* как символы и в качестве таковых истолковываются.

Здесь-то и выясняется, что просветленного посредством теории *искусства* исторического рассмотрения все еще не существует: то, что так называют, привлекает свои методы почти исключительно из сферы той науки, в которой — единственной из всех — методы познания достигли строгой разработанности, а именно из физики. Проследивая причинно-следственные связи, историк пребывает в убеждении, что занимается историческим исследованием. Примечателен тот факт, что философия в старом стиле никогда и не помышляла о возможности иного отношения между понимающим человеческим бодрствованием и окружающим миром. Кант, установивший в главном своем труде формальные правила познания, привлек в качестве объекта деятельности рассудка лишь *природу*, причем никто этого так до сих пор и не заметил. Для него знание — это лишь математическое знание. Когда он говорит о прирожденных формах созерцания и категориях рассудка, он никогда не помышляет о совершенно иных по характеру понятиях исторических впечатлений, а Шопенгауэр, который, что весьма многозначительно, принимает во внимание из кантовских категорий лишь причинность, говорит об истории исключительно с презрением*. То, что помимо необходимости причины и следствия (я назвал бы это *логикой пространства*) в жизни существует еще и органическая необходимость *судьбы* (*логика времени*), представляет собой факт глубочайшей внутренней достоверности, факт, наполняющий

* Надо быть в состоянии прочувствовать, насколько глубина формального комбинирования и энергия абстрагирования в области, например, исследования Возрождения или истории Великого переселения народов отстают от тех, которые являются чем-то само собой разумеющимся для теории функций и теоретической оптики. Сравнивая историка с физиком и математиком, мы видим, насколько *небрежен* первый, стоит ему только перейти от собирания и упорядочения материала к его истолкованию.

собой все вообще мифологическое, религиозное и художественное мышление и образующий суть и ядро всякой истории в противоположность природе, оставаясь, однако, недоступным для тех форм познания, которые исследует «Критика чистого разума». Но до соответствующей теоретической формулировки еще далеко. Как пишет Галилей в знаменитом месте своего «*Saggiatore*» [«Пробирщика» (*um.*)], в великую книгу природы философия «*scritta in lingua matematica*» [вписана математическим языком (*um.*)]. Однако мы все еще ожидаем ответа философа на вопрос, на каком языке написана история и как его следует читать.

Математика и принцип причинности ведут к естественному, хронология и идея судьбы — к историческому упорядочению явлений. Оба этих порядка охватывают — каждый для себя — *весь* мир. Другим оказывается только глаз, в котором и через который осуществляется этот мир.

4

Природа — это образ, посредством которого человек, принадлежащий к высшей культуре, придает единство и смысл непосредственным впечатлениям своих чувств. История — образ, исходя из которого его фантазия силится постичь живое бытие мира в связи с собственной жизнью, углубив тем самым ее действительность. Способен ли он к такому образотворчеству и какой из них господствует в его бодрствующем сознании — вот первовопрос всего человеческого существования.

Здесь имеются две *возможности* миротворения человеком. Тем самым уже сказано, что не обязательно они же и *осуществляются*. Так что, если впоследствии мы зададимся вопросом относительно смысла всей истории, вначале надо будет разрешить вопрос, прежде никогда не ставившийся. *Для кого* существует история? На первый взгляд, парадоксальный вопрос. Несомненно, для всякого, поскольку всякий человек со всем его бытием и бодрствованием является составной частью истории. Однако большая разница, живет ли некто под постоянным впечатлением того, что его жизнь — это составная часть куда большей биографии, простирающейся на столетия или тысячелетия, или же он воспринимает ее как нечто в самом себе закругленное и завершенное. Разумеется, для последнего рода бодрствования не существует никакой всемирной истории, *никакого мира как истории*. Однако что происходит, если на таком антиисторическом основании базируется самосознание целой нации, когда из него исходит целая культура? Каковой должна ей представляться действительность? Мир? Жизнь?

Если мы задумаемся над тем, что в мирознании греков все пережитое, причем не одно только личное, но и все прошедшее вообще тотчас же переходило в лишенный времени, неподвижный, мифически оформленный фон извечно мгновенного настоящего — до такой степени, что история Александра Великого еще прежде его смерти начала для античного сознания сливаться воедино с легендой о Дионисе, а Цезарь воспринимал свое происхождение от Венеры как по крайней мере не противоречащее здравому смыслу, нам придется признать, что для нас, людей Запада, с нашим мощным ощущением временных отстояний, на основании которого повседневное летоисчисление в системе «до» и «после» Рождения Христа стало чем-то само собой разумеющимся, почти невозможно заново пережить такие душевные состояния, однако мы не имеем права просто игнорировать этот факт в контексте проблемы истории.

Что означают дневники и автобиографии для отдельного человека, тем же оказываются для души целой культуры исторические исследования в наиболее широком объеме, когда они включают в себя также и все разновидности сравнительного психологического анализа чуждых народов, эпох, обычаев и нравов. Однако античная культура не обладала никакой *памятью*, никаким историческим органом в этом специальном смысле. «Память» античного человека (при этом мы, разумеется, бесцеремонно вкладываем в чужую душу понятие, выведенное на основании собственной душевной картины) представляет собой нечто совершенно иное, потому что здесь в бодрствовании отсутствуют прошлое и будущее в качестве упорядочивающих перспектив, наполняет же его с неведомой нам мощью «чистое настоящее», которым так часто восторгался Гёте во всех проявлениях античной жизни, но в первую очередь в скульптуре. Это чистое настоящее, величайшим символом которого является дорическая колонна, оказывается на самом деле *отрицанием времени* (направления). Для Геродота и Софокла, точно так же как для Фемистокла и римского консула, прошлое тут же испаряется в покоящееся вне времени впечатление с *полярной, непериодической* структурой (потому что таков конечный смысл одухотворенного мифотворчества), в то время как для нашего мироощущения и внутреннего взора прошлое представляет собой четко расчлененный, направленный во времени организм, образованный веками и тысячелетиями. Однако лишь этот фон и придает жизни — как античной, так и западной — особую окраску. То, что называл космосом грек, было картиной мира, который не *становится*, но *есть*. Следовательно, сам грек был таким человеком, который никогда не *становился*, но извечно *был*.

Поэтому античный человек, хотя он располагал строгой хронологией и календарным исчислением, а потому был прекрасно знаком

с мощным, проявляющимся в наблюдении небесных тел и точном измерении громадных временных протяжений ощущением вечности и ничтожества настоящего мгновения в вавилонской и прежде всего в египетской культуре, *внутренне* ничего из этого не усвоил. То, что упоминают иной раз античные философы, они лишь услышали от других, но не испытали сами. Открытое же отдельными светлыми умами, происходившими по преимуществу из азиатской Греции, такими как Гиппарх и Аристарх, отвергалось как стоическим, так и аристотелевским умонастроением и вообще не принималось во внимание за узкими пределами специальной дисциплины. Ни у Платона, ни у Аристотеля не было обсерватории. В последние годы Перикла в Афинах было проведено постановление народного собрания, грозившее строгой формой иска эйсангелии⁶ всякому, кто станет распространять астрономические теории. То был акт глубочайшей символики, в котором выразилась воля античной души изгнать из своего мирознания даль в любом смысле этого слова.

Что касается античной историографии, взглянем на Фукидида. Мастерство этого автора заключается в подлинно античной способности осмысленно и на себе самом пережить *современные* события, к чему добавляется еще тот изумительный дар проникновения в факты прирожденного государственного деятеля, который сам был полководцем и администратором. Этот *практический опыт*, который, к сожалению, путают с чувством исторического, справедливо делает Фукидида в глазах чистых ученых, занимающихся историографией, непревзойденным образцом. Что, однако, осталось для него всецело недоступным — это тот наделенный перспективой взгляд на историю столетий, который, по нашему представлению, понятие историка должно включать в себя как нечто само собой разумеющееся. Все славные творения в жанре античного исторического повествования ограничиваются политической современностью автора, что самым резким образом контрастирует с нами, поскольку все без исключения наши исторические шедевры трактуют отдаленное прошлое. Фукидид провалился бы уже на теме Греко-персидских войн, не говоря об общей истории Греции или тем более истории Египта. Он, как и Полибий с Тацитом, также практические политики, тут же утрачивает всю свою пронизательность, стоит ему натолкнуться в прошлом, зачастую на отстоянии в несколько десятилетий, на такие движущие силы, которые из собственной практики знакомы ему не были. Полибию непонятна 1-я Пуническая война, Тациту невнятен уже Август, а совершенно неисторическое (при сравнении с нашими ориентированными перспективно исследованиями) мышление Фукидида раскрывается уже в его неслыханном утверждении, сделанном им